

Закон (в) философии

Н. Н. Мурзин

«К словосочетанию “закон истории” мы привыкли. Словосочетание “закон философии” нелепо».

Эта цитата, мне кажется, выражает самую суть того, *о чем и как* рассуждает Светлана Сергеевна Неретина в «Единстве истории и философии как законе человеческого существования».

Закон – это запись. Запись обладает силой закона. Написано (пером) – не вырубешь (топором). История – свод записей.

Но в каком смысле это закон человеческого существования?

В том смысле, что – диктует? Пишет кровью?

О каком единстве идет речь в заглавии? Могила часто становится могилой не только тому, кому ее рыли, но и тем, кто рыл (египетские пирамиды, и вообще все «стройки века» в прошлом, настоящем, будущем). Разве это их объединяет. Если и объединяет – то *post factum, post mortem*. Это, очевидно, и есть историцизм. У такой истории действительно все мертвы и все равны. Жуткая двусмысленность фразы «лежит в основании». В основании пирамид лежат не цари. А рабы.

В основании же человеческого существования кладется закон. Вернее, закон правит существованием как раз постольку, поскольку буквально кладет в основание человека. В том самом смысле.

Но философии, которая есть мысль о бытии, закона – указа – нет: совершенно точно подмечено. Можно сказать, конечно, что она потому сама себе закон, но это только хитрость, уловка (и еще непонятно, кто кого здесь обманул), потому что таким образом закон вводится, протаскивается, пропихивается туда, где его *действительно – никак – нет*. И быть не должно. Потому что бытие не вмещено в рамки и никак не характеризуется. А запись всегда о вмещенном и характеризованном. Если и с бытием все же разобрались, вместили и охарактеризовали, тогда последней свободой делается как раз существование. Не-под-законное. Но не а-моральное.

Но закон протискивается, протаскивается. Как? в слове, именовании и рассуждении: и Августин тут предельно уместен – есть вещь, и есть имя, а вместе с именем входит еще что-то, третье, а возможно, первое, и в конце концов, единственное, только дай волю – язык со всеми своими *внутренними* отношениями, где от реки, самой-по-себе-текущей, уже ничего не остается. Ладно, скажем, если нет *внешнего* закона, пусть будет *внутренний*: то же самое, но *свое*. Вроде бы это формальность, только *знак* отсутствия внешнего. Надо же как-то выразить это отсутствие. Получается прямо по Фуко (цитируемому): внутренний надсмотрщик намного эффективнее внешнего. Впустил – обратно уже так просто не выкинешь. Без закона никак нельзя. Не гетерономия – так автономия: все равно *номия*. Номос. А номотетика – она-то да, единство: номоса и – *тезиса*, положения-в-основание. И так вплоть до Канта – выстраивается логика всех революций: отвержение власти во имя ее при-своения. Правота Ницше: труднее всего для человека отказаться в принципе от закона. Подумать страшно. Легче сокрушить всех идолов, убить всех богов, чем избавиться от слова, от идеи, от тени. Закон кладется в основание власти, и руководствуется ничем иным, как идеей властного распоряжения сущим.

Для того, чтобы властвовать, надо определить, кем и чем, назвать, охарактеризовать. Подчинить – сообщить всему чин, ранжир. Относительно себя, любимого, конечно. Человека наказать нельзя и не за что. А, скажем, денщика или караульного – легко. Вина, провинность всегда найдется. У Аристотеля уже само бытие бьется в сетях категорий; но не первая сущность. Неопределенность существования – вызов закону, и тут Аристотель неожиданно превращается в полуподпольного мыслителя, анархиста и экзистенциалиста, несмотря на *zoön politikon*. Но потому, кстати, и *zoön*:

политика – зоопарк, а не естественная среда, из которой животное-человека выдернули и засадили в клетку. А *zoon logon echon* и того страшней и проще: животное, которое ловится – речью. Именовани^{ем}. Записью, в конце концов. Со-чинили человека – подчинили его. Вот и проговаривается Аристотель в шестой книге «Никомаховой этики»: мол, это как если бы политики могли диктовать свою волю – кому? – богам. В этом злобное безумие закона, до поры тщательно скрываемое изошренным понятийным аппаратом, многочисленными оговорками: подчинить себе *божественное*. Бытие. Существование. Саму жизнь.

Заговор против богов.

Редукционизм здесь абсолютен: сводится то, что нельзя свети – к тому, к чему нельзя свести. *Zoe* – к *bios*'у (см. К. Кереньи). Человек – к денщику. «Человек» еще и наказывается за то, что – не соответствует «денщику». Любое государство всегда, в конечном итоге, репрессивно, и другим быть не может – просто потому, что его *идеальному* гражданину никогда и ничего во всей вселенной соответствовать не может и не будет. Поэтому оно ощущает себя в полном праве в любой момент уничтожить любого своего *реального* гражданина – по причине несовпадения с *идеальным*. Этим государство изначально оправдано в собственных глазах. Все грешны, все виноваты, все подсудны: такова первая, последняя и, по существу, единственная истина закона.

Закон неестественен. Но естественная среда человека – не природа, как можно было бы подумать. Естественная среда человека – он сам. То есть существование. Получается, когда закон выдергивает его из его естественной среды, он выдергивает его из него самого. Бежать в природу бессмысленно. Откуда и мысль о законе взялась, как не из природы. Только в природе подчиняющий и подчиняющийся так нераздельно слиты, что это производит уже/еще впечатление согласия и гармонии. К этому стремится в идеале всякое государство, но оно вынуждено иметь дело с дифференцированным существованием этих двух начал. Оно, правда, тешит себя мыслью, что через это разделение и войну добьется чего-то и в природе невиданного и неслыханного, но со всеми своими претензиями все же так и не выходит за рамки природы, чьим продолжением, собственно, является.

Власть и подвластие – две стороны одной монеты. Тот же Аристотель вспоминает Одиссея, отклоняющего доводы пройдох: не достойно мудрого – подчиняться, но достойно – править. Кто мудрый? Я? Дал бы я себя втянуть во все это безобразие, если бы и впрямь был таким мудрым, как вы говорите. Мудрее подчиниться, тянуть общую лямку, быть одним из многих. Хорошо прожил тот, кто прожил незаметно (Декарт). Больше правды на стороне тех, кто подзаконен – не потому, что это само по себе хорошо или правильно, а потому, что начнешь протестовать, недовольничать, бороться – только глубже увязнешь. Подзаконные ближе к периферии, окраине, маргинальным областям закона. Ближе к изначальной неопределенности. Тех, кто принимает власть всерьез, она уже не отпустит. Самое опасное для закона – существование вне его, за его пределами: не отмеченное, не записанное. Незаконное. Соблазнительная мысль о свободе.

Но и подвластие лукаво. Властвовать над другими достоин лишь тот, кто способен властвовать над собой. Умеешь наладить собственные дела – почему бы тебе не взяться и за наши. Мы дадим тебе право, доверимся твоей опытности и мудрости. Так примерно обращаются к Одиссею. Но – вот ведь каков оборот – чужих дел Одиссей так и не наладил, никому, по большому счету, не помог. Все его превозносимое пройдохами хитроумие привело сплошь к пирровым победам, смертям и трагедиям. Все рядом с ним погибли. Одиссей выжил, потому что хотел только одного – вернуться к своей жизни, из которой оказался вырван против воли, ухищрениями спекулятивного политического неразумия. Так разум обозначает свои границы и отказывается играть в навязываемую ему игру, выбирать, со щитом он – или на щите. Хитроумие Одиссея выражается в том, что он лавирует между партиями, дает двусмысленные советы, снимает с себя всякую ответственность и более всего печется о собственной выгоде. Величайшая же выгода для

него – свобода от накладываемых на него обязательств, будь то обязанность подчиниться или, напротив, властвовать. И в том, и в другом разум если и добьется на каком-то этапе успеха, то правильно будет сказать, что лучше бы он потерпел поражение. Ничего хорошего из этого все равно не выйдет, и не для разума даже, а в первую очередь для тех, кто возлагает на него ложные надежды.

Разум в этом смысле – не настаивающая на своем самобытность. Тогда и декартово *cogito ergo sum* будет такой же формулой закрепощения, как кантова автономия морали, во всем срисовывающая себя с природного закона, ставящая перед собой, как идеал, необходимость – мгновенную отдачу, руководство к немедленному исполнению. Разум – отказ от борьбы, уход в аристотелеву неопределенность существования. Среди подзаконных его легче спрятать, замаскировать, выдать за смирение или стадную согласность. Называя себя «Никто», Одиссей ближе всего к тому, чтобы раскрыть свою самую глубокую тайну, и свою странную правду; он ее, в общем-то, и раскрывает, но так, что смысл этого раскрытия остается сокрытым. «Никто» отныне – его истинное имя, имя не-для-записи, имя не выдающее, а охраняющее-сохраняющее-хранящее, которым можно укрыться, как плащом, от посторонних, чтобы оплакать утраченную жизнь, чтобы горечь живой памяти не дала тебе забыть, кто ты и откуда. Никто – и, следует добавить, ничто, то есть: не то и не другое, и не третье-среднее-ни-то-ни-се. Один из диалогов Платона начинается с такой же простенькой арифметики: один, два, три – а где же четвертый. Но его никогда нет.

Так и идет дело – ни шатко, ни валко. Сплошь взаимоисключающие определения – такие, задача которых стереть всякую определенность. Так пишется аристотелевский текст – вписывая себя в неопределенность, а не записывая ее туда или сюда, расписывая так или сяк. Неопределенность не делится на потроха и шкуру, ценное и бросовое, пригодное и непригодное. Пускай охотник ловит зверя в сеть; пускай произносят над бытием свой абсурдный в претензии приговор политики (а что такое «категория», по сути, как не приговор, приведение-в-исполнение). Какое дело до них скитальцу, который давно утратил всякую надежду вернуться домой, но все же не променяет эту несбыточную мечту ни на что на свете.